

Междисциплинарность психологического знания: история и современность

Психология персонажей Ф. Достоевского как пограничное бытие субъекта в ситуации социальной «принужденности»

Лазаренко Любовь Витальевна

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Россия

e-mail: lazarenko.kashtan@yandex.ru

Аннотация. В статье предпринимается попытка интерпретации проблемы психологизма Ф. Достоевского. Психология персонажа рассматривается в русле идей, намеченных М. Бахтиным и В. Бенямином. Автор предполагает, что психология героев Достоевского – это динамические состояния, возникающие в процессе борьбы между социально-нормативными аспектами Я персонажа. Трагедия героев Достоевского – несовпадение субъективно переживаемого как свободный выбор и объективно существующего как скрытое принуждение.

Ключевые слова: Достоевский, психологизм, субъект психологического переживания, социальное принуждение.

The psychology of the characters of F. Dostoevsky as a borderline being of a subject in the situation of social “compulsion”

Lazarenko Lyubov Vitalyevna

Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), Russia

e-mail: lazarenko.kashtan@yandex.ru

Abstract. The article attempts to interpret some aspects of problems of F. Dostoevsky’s psychologism. The psychologism of the character is considered in the line with the ideas by M. Bakhtin and V. Benyamin. The author suggests that psychology of the characters of Dostoevsky is a dynamic state arising in the process of the struggle between socially normative aspects of the character’s self. The tragedy of the heroes of Dostoevsky is the discrepancy between the subjectively experienced as a free choice and objectively existing as a hidden coercion.

Keywords: Dostoevsky, psychologism, subject of psychological experience, social coercion.

Несмотря на очевидную детальность, скрупулезность в описании состояний, переживаемых персонажами Ф. Достоевского, на словно нависающую над читателем, почти грозную массу того, что в литературоведческом обиходе принято называть психологией литературного героя (условность терминологического сочетания «психология персонажа» или «психология литературного героя» сейчас не комментируются), критика часто рассматривает прозу писателя как идеологическое, в первую очередь, образование.

Предметом исследования в статье становится именно этот, казалось бы, немислимый, объективно неспособный привести к появлению произведений настолько глубоких, литературно-художественный консонанс идеологического и психологического. Основная гипотеза, которую предполагается рассмотреть состоит в следующем: изображение индивидуума в прозе Достоевского подчинено задачам драматизации социальной идеи, выводимой в личном мире персонажа либо как скрытый принцип, детерминирующий его «действие» на страницах романа, либо как декларация, исходя из которой читатель вполне может объяснить его поступки и удовлетвориться этим, однако есть еще конструирование персонажа как действующего лица, обладающего значительной степенью внутренней свободы, индивидуальностью самосознания и психологической сингулярностью. Это отношение индивидуально-личностного, субъектного и идеологически детерминированного, открывающего в субъекте поступка объект действия социальных сил, будет рассмотрено как аспект построения сюжета, создающий почву для сложных психологических экзерсисов писателя.

Нарративное условие, при котором подобное становится возможным, было обнаружено и исследовано М. Бахтиным: жанровая модель полифонического романа, открывающая дорогу диалогу дискурсов, производимых множеством неравноправных инстанций, обладающих равноправием голосов.

Интересно, что М. Бахтин, полагавший, безусловно, верным «определение постановки идеи» как предмета изображения, данное Б.М. Энгельгардтом [1, с. 33], указывал на то, что предметом изображения каждая отдельная идея является только для отдельного персонажа, однако изображается в первую очередь все-таки человек: «Его героем был человек, и изображал он в конце концов не идею в человеке, а, говоря его собственными словами, – «человека в человеке». Идея же была для него или пробным камнем для испытания человека в человеке, или формой его обнаружения, или, наконец, – и это главное – тем *medium*'ом, той средою, в которой раскрывается

человеческое сознание в своей глубочайшей сущности» [1, с. 40] По сути, Бахтин колеблется перед выбором между двумя возможными достоверностями: *предмет изображения – идея и предмет изображения – человек*. При этом идея понимается как конструкт, содержание которого в той или иной форме, но всегда достаточно отчетливо выговаривается в тексте. Сомнение Михаил Бахтин разрешил в некотором роде диалектически: противоречие снималось в гипотезе об особо организованной форме: живом и непосредственном диалоге персонажей, каждый из которых выражал некоторую, как будто «собственную» идею; вопрос, таким образом, был перенесен в другую область – область полемизирующих дискурсов, представляемых субъектами речи. Проблема субъекта психологического отходила на задний план, однако не исчезала совсем. Внутри полифонического романа, герои которого реализовывали себя преимущественно в речи, начинали вырисовываться контуры фигуры Другого. А так как под идеей обычно понимается некоторое представление, установка, всегда адресованные кому-либо и всегда предполагающие особым образом маркированное содержание, уже это выводило на авансцену социально детерминированного или, как минимум, на определенных условиях включенного с социальными отношениями субъекта.

К этой социальной обусловленности «неслиянных» сознаний персонажей Достоевского Бахтин подходит с осторожностью: «Каждое переживание, каждая мысль героя внутренне-диалогичны, полемически окрашены, полны противоборства, или, наоборот, открыты чужому наитию, во всяком случае не сосредоточены просто на своем предмете, но сопровождаются вечной оглядкой на другого человека. Можно сказать, что *Достоевский в художественной форме дает как бы социологию сознаний ...*» [1, с. 41] (курсив мой).

Более выразительно и уже гораздо более «монологически» описывает психологическое содержание социально-идеологического персонажа Достоевского В. Бенъямин (статья «“Идиот” Достоевского»): «В нем национальная личность, человек родной страны, индивидуальная и социальная личность по-детски слеплены вместе, а покрывающая их отвратительная корка психологически осязаемого дополняет этот манекен» [2, с. 22]. Коллаж, создаваемый Бенъямином, призван продемонстрировать разнородность идеологических конструктов (национальный тип, социальный тип, личностно-психологическое начало), которые кладутся в основу образа персонажа и сцепляются в нем искусственно, создавая «манекен». Далее Бенъямин замечает: «<...> психология персонажей Достоевского – совсем не то, из чего автор действительно исходит. Она всего лишь что-то вроде нежной оболочки, в которой из огненной протоплазмы национального возникает в ходе

преображения чисто человеческое. Психология – лишь выражение для пограничного бытия человека» [2, с. 22]. И здесь речь уже не идет о манекене, психология не нивелируется (попытку уйти от классических интерпретаций персонажа как субъекта психологического мы наблюдали и у Бахтина «Мы видим, не кто он есть, а как он осознает себя...»), речь идет о «нежной оболочке» психологии, в которой из внеличного возникает личностное. В этом смысле психологическое содержание – это содержание заведомо пограничное, флуктуирующее в разломе между схематическим социально-идеологическим и личностным – преобразующим началом, дискурсивно обрабатывающим и аффективно переживающим данное извне. И в этом смысле персонаж Достоевского есть и модель рождения психологического из социально-идеологического и момент этого рождения. Вероятно, отсюда такая чувственная мощь переживаемого героями Достоевского и сила ее воздействия на читателя.

Мир героев Достоевского и социологичен, и идеологичен, и психологичен одновременно (здесь и далее идея понимается не только как выговариваемое героем, принимающее форму суждения в рамках некоторой идеологической модели, но и как реконструируемое невыговоренное, определяющее ситуацию персонажа). Но его личностно-психологический образ возникает только тогда, когда происходит соприкосновение социально-идеологического с некоторым иным внутренним. В этом плане Другой – это не только внешнее по отношению в персонажу в его действительном или воображаемом мире, Другой – это и не всегда дифференцированное содержание его Я, часто неуверенно опознаваемое как чужое.

Изображаемое психическое предстает как разные формы конфликта между субъектом переживания, рефлексии и этим неустановленным Другим, собственно сам психологический субъект Достоевского есть этот конфликт, эта драма борьбы. Здесь и бунт против иного, чужого, неопознанность которого делает его (бунт) иррациональным, истерически бесконтрольным, нецелесообразным, как попытка безумца содрать собственную кожу. Здесь и тревога перед угрозой исключения, социального отвержения, и ее снятие в акте саморазоблачения. Н.К. Михайловский, сочувствуя героям Достоевского, назвал «беспричинным и бесцельным мучительством» то, как повествователь выстраивает их судьбы. Однако именно то, что натуралистически было воспринято критиком как мучительство, становится примером разыгрывания драмы исчезающего психологического субъекта как субъекта выбора и поступка и появления субъекта подчинения – Я, начинающего осознавать свою

производность от социального, и тревожно пытающегося нащупать свои новые границы.

Не все персонажи вступают в такие – конфликтные – отношения с иным внутри себя, часть героев переживает ситуацию своего бытия не рефлексивно, избегая не мотивированных внешними причинами аффектов, оставаясь в поле очевидного, но и в этом лагере чувствуется какое-то смутное тревожное ощущение, нуждающееся в объяснении.

Обратимся к роману «Идиот». Великолепная сцена дня рождения Настасьи Филипповны. Рассмотрим несколько моментов, иллюстрирующих высказанные предположения. Пачка денег («сто тысяч ходячими деньгами») брошена в огонь Настасьей Филипповной. И хотя В.Б. Шкловский пишет, что персонажи Достоевского «<...> робко и неудачно пренебрегают деньгами», потому что растоптанные или брошенные в огонь деньги всегда остаются целы. [6, с. 476], пожалуй, неверно ответственность за это относить на счет персонажа. Тогда, когда данное правило действует, за этим стоит история, которую конструирует повествователь, спасающий купюры своей властью над дискурсом. Настасья Филипповна, действительно бросает деньги в огонь, предлагая Гане достать их голыми руками, для него здесь испытание, но никакого расчета на то, что они как-нибудь да вернутся к ней здесь нет. Это конечный жест, исходящий из природы и логики образа. Небольшое отступление повествователя о роскоши, которую Настасья Филипповна «даже любила», но «никак не поддавалась ей», несмотря на некоторое внутреннее противоречие, вполне демонстрирует эту борьбу между принимаемым богатством и готовностью от него отказаться. Сам смысл глагола «не поддавалась» - уже из поля значений конфликта, завершающего свое развитие в данной сцене. Адресат этого жеста не только толпа, замороженно или с ужасом вззирающая на охваченный огнем сверток, адресат этого действия – нечто внутри самой Настасьи Филипповны. Именно у этой стороны своей сущности она сейчас предполагает выиграть войну, это инкорпорированное социальное с его безусловно принимаемой ценностью денег как экономической основы социальных отношений, как причины и следствия даже самих жизни и смерти. Однако война, объявленная Настасьей Филипповной, ведется не только против социальной нормы, но и социальной нормой, только иного плана. По сути, психологическая «фактура» героини – и есть эта битва: между правилом и правилом, между разными нормативно-этическими порядками: этикой богатства, денег как одного из столпов социального бытия и этикой духа, примата духовного над материальным. Тема денег звучит часто и абсолютно не нейтрально, она всегда связана с преступлением либо против морали, либо

против морали и права: это и история Фердыщенко об украденных им трех рублях, и обещанные семьдесят пять тысяч, и отказ от предложения князя, который, как выяснилось, стал богатым наследником, и случай из криминальной хроники. Обобщенно и осуждающе звучит изнутри идеологического дискурса, этически маркирующего деньги как моральное зло: «Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели» [3, с. 137].

Над поверхностью этого столкновения идеологий все энергичнее начинает флуктуировать субъект психологического. Все, обычно называемые психологическими, детали, засвидетельствованные нарратором, подчеркивают нехарактерность поведения Настасьи Филипповны, обычно ее званые вечера бывали «чинными»: «В странных же, иногда очень резких и быстрых выходках Настасьи Филипповны, которая тоже взяла вина и объявила, что сегодня вечером выпьет три бокала, в ее истерическом и беспредметном смехе, перемежающемся вдруг с молчаливою и даже угрюмою задумчивостью, трудно было и понять что-нибудь» [3, с. 119]. Такова Настасья Филипповна в ожидании кульминации, а затем развязки, к которой исступление усиливается, истерический хохот сменяется слезами и наоборот.

Неожиданное известие о наследстве, полученном князем, и его предложение – субверсивные события сюжета. Однако они не могут остановить борьбу с «мерзостью», так с отвращением говорит Настасья Филипповна о «рогожинской» пачке денег, потому что борьба эта только кажется обусловленной свободным выбором героини. Бунт, подготовленный и рассчитанный, продолжается. Фантасмагория аффекта, экзальтация, неожиданность поступка, и речь – то спонтанная, то сценически выверенная – все служит цели нанести болезненный удар по норме, правилу, принятому обществом как данность и ставшему частью социального бытия и системы ценностей каждого из присутствующих. Независимо от того, объясняем ли мы это действием ресентимента или нет, именно здесь с полнотой объективируется в романном целом психологическое содержание, проявляющее себя наиболее отчетливо в бунте, в протесте в моменте разрыва с тем, что мыслится как социально приемлемое, приличное, нормативное, в моменте разрыва с дисциплинарно-контролирующей функцией социума. Однако трагедия героини в том, что бунт заведомо обречен, он не способен выполнить главную задачу – задачу освобождения. В широком смысле, это бунт против «социальной принужденности», осуществляемый средствами самой «социальной принужденности». Понятие принужденности в статье используется в противоположность понятию свободы, в значениях, которые придавал им

Спиноза: «Та вещь называется свободной, которая существует по одной только необходимости своей природы и определяется к деятельности только сама собой; необходимая же или, лучше, принужденная вещь та, которая определяется к существованию и деятельности другими по известному и определенному способу» [5, с. 4]. Если предположить, что воспринимаемая в процессе самоосознания индивидуальность, локальность *Я*, если это *Я* свободно, должна «определяться к деятельности только сама собой», то *Я* несвободное (большая часть положений этого типа не противоречат классическому психоанализу), определяется «к деятельности» другими. Все, изображаемые в наибольшем напряжении внутренней жизни, персонажи Достоевского пытаются переконструировать свое *Я* тем или иным способом в тщетных попытках обрести возможность существовать «по одной только необходимости своей природы».

Личность персонажа Достоевского вообще проявляет себя наиболее ярко в ситуации разрыва, скандала, которыми чревато исключение из социального тела, потеря связи с социальностью, проявляющей себя как традиция, норма, ритуал. При этом не существенно, что именно провоцирует разрыв, и является ли он действительным или вымышленным.

Читатель наблюдает, как персонажи исключают себя, изгоняют, разрушают, «овнешняя» свое мнимое или истинное преступление, делая его очевидным, выставив напоказ, они создают условия, в которых внутренний голос социального, наконец, объективируется, становится Другим, словно прорвавшись из-под истончившейся оболочки психологического, освободив *Я* от своей бесконечной подрывной работы, от вечно осуждающего взгляда изнутри, от властного голоса, требующего наказания для отступника, покусившегося на многочисленные нормы: от моральной общечеловеческой до локальной бытовой. Воплотившись, наконец, во внешней карающей инстанции, этот глас социального на время освобождает *Я* персонажа: в поисках этого освобождения Раскольников сначала идет на убийство, а потом признается в нем; Рогожин убивает Настасью Филипповну; и исповедуются, бесконечно исповедуются герои Достоевского в обычно бесплодной попытке изгнать влияние общественной установки, власть инкорпорированного Другого, сила и модальность которого соответствуют представлению о нем, существующему в воображении героя, и той идеологии, носителем которой он является.

Исповедь становится способом объективации воображаемого Другого через перенос его функции на слушающего или читающего. Наконец разрушительные, требующие возмездия голоса, осуждение, ненависть, гадливость извлечены изнутри *Я* и перенесены на слушателя, не всегда даже

включенного в структуры повествования (откровения «подпольного человека» «выслушивает» / читает эксплицитный читатель). Вспомним, как это происходит с героями «Униженных и оскорбленных» в сцене встречи князя Валковского и Ивана Петровича: «Помню, еще у одной пастушки был муж, красивый молодой мужичок. Я его больно наказал и в солдаты хотел отдать (прошлые проказы, мой поэт!), да и не отдал в солдаты. Умер он у меня в больнице...» – откровенничает князь и, обнаруживая ожидаемую реакцию, комментирует: «Вам отвратительно слушать? Возмущает ваши благородные чувства? <...> Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока» [4, с. 361]. Эта реакция, дополненная в соответствии с представлением Валковского о моральной норме и «естественных» формах реагирования на ее нарушение, и есть причина, по которой рассказанная история существует.

То или иное знаково повторяющееся поведение главных героев романов Достоевского всегда указывает на точки максимального натяжения в полотне отношения индивидуального и общественного, на возможность разлада между ними. Вспомним, как в уже упомянутой сцене дня рождения Настасьи Филипповны генерал Епанчин, скорее с надеждой, чем с тревогой, неоднократно предполагает сумасшествие героини, так как только безумие может быть «уважительной» причиной, которая побуждает ее не просто проигнорировать, а откровенно отбросить одно правило за другим. Эта демонстрация, этот бунт вызывает страх: в ситуации, когда норма уже не кажется абсолютной, мир утрачивает свою предсказуемость, а версия с безумием возвращает в мир порядок, так как только безумный имеет некоторое, хотя и весьма ограниченное право находиться за пределами нормы.

Список литературы:

1. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 2. Проблемы творчества Достоевского, 1929. Статья о Л. Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922-1927 / Под ред. С.Г. Бочарова, Л.С. Мелиховой. М.: Русские словари, 2000. 799 с.
2. Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. и франц.; Сост., предисл. и примеч. А. Белобратова. СПб.: «Симпозиум», 2004. 480 с.
3. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. / АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом); [редкол.: В.Г. Базанов (отв. ред.) и

др.]. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1973. Т. 8. Идиот: Роман / текст подгот. И. А. Битюгова, Н. Н. Соломина. 511 с.

4. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. / АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом); [редкол.: В.Г. Базанов (отв. ред.) и др.]. Л. : Наука. Ленинградское отделение, 1972. Т. 3. Село Степанчиково и его обитатели. Униженные и оскорбленные / текст подгот. А. В. Архипова, И. З. Серман, Н. Н. Соломина, И. М. Юдина. 543 с.
5. Спиноза Б. Этика. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. 336 с.
6. Шкловский В. За и против. Заметки о Достоевском. М.: Советский писатель, 1957. 259 с.

References:

1. Bakhtin M.M. Sbranie sochinenii. T. 2. Problemy tvorchestva Dostoevskogo, 1929. Stat'ya o L. Tolstom, 1929. Zapisi kursa lektsii po istorii russkoi literatury, 1922-1927 / Pod red. S.G. Bocharova, L.S. Melikhovoi. M.: Russkie slovari, 2000. 799 s.
2. Ben'yamin V. Maski vremeni. Esse o kul'ture i literature / Per. s nem. i frants.; Sost., predisl. i primech. A. Belobratova. SPb.: «Simpozium», 2004. 480 s.
3. Dostoevskii F.M. Polnoe sobranie sochinenii: V 30 t. / AN SSSR, Institut russkoi literatury (Pushkinskii dom); [redkol.: V.G. Bazanov (otv. red.) i dr.]. L.: Nauka. Leningradskoe otdelenie, 1973. T. 8. Idiot: Roman / tekst podgot. I. A. Bityugova, N. N. Solomina. 511 s.
4. Dostoevskii F.M. Polnoe sobranie sochinenii: V 30 t. / AN SSSR, Institut russkoi literatury (Pushkinskii dom); [redkol.: V.G. Bazanov (otv. red.) i dr.]. L. : Nauka. Leningradskoe otdelenie, 1972. T. 3. Selo Stepanchikovo i ego obitateli. Unizhennye i oskorblennye / tekst podgot. A. V. Arkhipova, I. Z. Serman, N. N. Solomina, I. M. Yudina. 543 s.
5. Spinoza B. Etika. Mn.: Kharvest, M.: АСТ, 2001. 336 s.
6. Shklovskii V. Za i protiv. Zаметки о Достоевском. М.: Sovetskii pisatel', 1957. 259 s.

Сведения об авторе:

Лазаренко Любовь Витальевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Москва, Россия)